

A stylized, artistic illustration of a city street at night. The scene is dominated by a large, multi-story building with a grid of windows, some of which are illuminated with a warm, reddish-orange glow. A street lamp hangs from the top, casting a soft, white light. In the foreground, a dark railing runs diagonally across the frame, suggesting a balcony or a walkway. The overall color palette is dark and moody, with deep blues, purples, and greys, contrasted by the warm light from the windows and the street lamp. The text is centered over the building's facade.

АЛЕКСАНДР
БЛОК

СТИХОТВОРЕНИЯ



Александр Александрович Блок

Стихотворения

Серия «Собрание больших поэтов»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=62780728

Стихотворения: Эксмо; Москва; 2020

ISBN 978-5-04-109155-2

Аннотация

Благоговейные гимны в честь несравненной Дамы, пронзительные стихотворения о России, стихотворения из знаменитых циклов «Стихи о Прекрасной Даме», «Снежная маска», «На поле Куликовом», «Страшный мир», «Кармен», «Итальянские стихи» и многих других вошли в эту книгу. «Трилогия вочеловечения», составленная Блоком, как и каждый блоковский цикл, – великое событие в русской поэзии, и каждое стихотворение – неотъемлемая часть этого события.

Тема былой возвышенной любви, былого счастья, навсегда утерянного Света проходит через все творчество поэта. Символисты ждали второго пришествия Христа, а началась революция...

«Блок – союз, всеобъединяющая, всемогущая музыка...» – пишет Дмитрий Быков в статье «Нерушимый Блок», открывающей эту книгу.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Содержание

Нерушимый Блок	8
Предчувствую Тебя	26
Из цикла «Ante lucem»[1]	26
Servus – Reginae[2]	26
Из цикла «стихи о прекрасной даме»	28
«Я вышел. Медленно сходили...»	28
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»	29
«Я жду призыва, ищу ответа...»	30
«Я, отрок, зажигаю свечи...»	30
«Вхожу я в темные храмы...»	32
«Мне страшно с Тобой встречаться...»	32
Из цикла «распутья»	34
«Я их хранил в приделе Иоанна...»	34
Песня Офелии	35
«Ей было пятнадцать лет. Но по стуку...»	36
«Пристань безмолвна. Земля близка...»	37
«Когда я уйду на покой от времен...»	38
«Мой любимый, мой князь, мой жених...»	39
Молитвы	40
Из цикла «За гранью прошлых дней»	42
«Неправда, неправда, я в бурю влюблен...»	42
Да святится Имя Твое!	43

Из цикла «Распутья»	43
Вступление	43
Из цикла «Разные стихотворения»	45
«В голубой далекой спальне...»	45
Ангел-хранитель	46
Из цикла «Снежная маска»	49
Влюбленность	49
Благословляю все, что было...	50
Из цикла «Страшный мир»	50
«С мирным счастьем покончены счеты...»	50
«Дух пряный марта был в лунном круге...»	51
«Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...»	52
«Ну, что же? Устало заломлены слабые руки...»	53
Из цикла «Возмездие»	55
«Она, как прежде, захотела...»	55
«Когда я прозревал впервые...»	56
«Кольцо существования тесно...»	57
Из цикла «Ямбы»	58
«Не спят, не помнят, не торгуют...»	58
«Я – Гамлет. Холодеет кровь...»	59
Из цикла «Разные стихотворения»	60
«Когда замрут отчаянье и злоба...»	60
«Ты так светла, как снег невинный...»	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62



Александр Блок

Стихотворения

Иллюстрация на переплете *Анны Рысухиной*

Иллюстрация в марке серии: © bsd / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Быков Д.Л., вступительное слово, 2002

© ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Нерушимый Блок

«Я художник, а следовательно, не либерал», – писал Блок в мае восемнадцатого года, отвечая на одну из бесчисленных тогдашних анкет. В последних пароксизмах свободная печать (в мае прикрытая временно, в июле окончательно) обсуждала единственный вопрос: может ли все-таки интеллигенция сотрудничать с большевиками? «Может и должна», – ответил Блок в январе тремя словами; спустя четыре месяца, для неосуществившегося журнала «Печать и революция», он высказался более развернуто, но и там – по вечной своей неспособности объяснять и расшифровывать – заметил, что обосновывать этот тезис не время и не место. Художник – не либерал, вот и все.

Попробуем сделать это за него, тем более что к нашим услугам его позднейшие фельетоны, яростные дневниковые записи, письма с редкими, но драгоценными проговорками. Все это давно уже зацитировано, но требует нового осмысления – как, впрочем, и вся русская история и русская же литература: пройдя через соблазны тоталитаризма и либерализма, она в который раз получает шанс беспристрастно разобраться в себе – и, боюсь, как всегда, этим шансом не воспользуется.

В разные эпохи читатель понимает разные блоковские тексты: почти вся лирика до 1910 года прекрасно понима-

лась в первой половине восьмидесятых, я хорошо это помню – и не только потому, что самому мне было тогда пятнадцать-семнадцать лет (самое «блоковское» время), но и потому, что времена были мистические, пусть с поправкой на бесконечную советскую пошлость. Крах империи, ее сумерки – всегда великолепное время, которое одно способно эту империю оправдать; я помню атмосферу той бесконечно поэтической эпохи, когда вдруг стали очень сильно писать лучшие наши авторы. Неизменно чуткий Окуджава пережил вторую молодость, написав в 1982–1984 годах не меньше тридцати превосходных песен; прогремел молодой Щербаков, в узких кругах стал известен Гандлевский. Тогда же – а вовсе не в начале перестройки – Захаров снял «Свифта», бесспорно самую глубокую свою картину, а Абуладзе на «Грузия-фильме» в обстановке строгой секретности закончил «Покаяние»; и то, и другое легло на полку, но оба автора знали, что это ненадолго. Я хорошо помню тогдашнюю полубогемную Москву, пустые сумеречные коридоры Школы юного журналиста при МГУ, где широко ходили ксерокопии самых разных сочинений – от эзотерики до «Лолиты»; помню школьные и студенческие театры-студии с непризнанными гениями во главе (очки, свитер, странности), помню невыносимое, почти эротическое напряжение той жизни – предвкушение, предчувствие, истончение ткани бытия, сквозь которую уже просвечивает несказанное. Всякая тогдашняя осень с ее сырым, рыжим и серым простором

и гудками далеких паровозов (я жил и живу на Мосфильмовской, недалеко от железнодорожных путей), всякая весна с ее «синей глубиью» – никогда потом я не видел неба такого цвета, – все было полно великих и, в сущности, неисполнимых обещаний; и как же тогда читался Блок! Тогда я мог любое его стихотворение из первого тома синего двухтомника (Орлов – составитель, 1955) продолжить с любого места. Моя жена, тогда новосибирская старшеклассница, младше меня на год, в то же самое лето восемьдесят третьего года впервые прочла «Короля на площади» – и оба мы, ничего друг о друге не зная, лучше всего запомнили самых таинственных ее персонажей: «Слухи, маленькие, красные, шныряют в густой толпе».

Трудно сегодня представить старшеклассника, читающего Блока, – не легче, пожалуй, чем представить тогдашнего выпускника, нюхающего кокаин. Но у нас был свой кокаин, не хуже вашего, и даже с менее опасными последствиями. «Король на площади» был тогда про нас – он сидел над городом, дряхлый, весь в трещинах, и все давно догадались, что он каменный. И, разумеется, ждали кораблей, которые придут и принесут что-то такое, такое, такое...

Вспомним едва ли не самое знаменитое стихотворение первой половины века: даже сейчас, когда чтение Блока приносит мне прежде всего боль – с такой болью отдирается от раны присохший бинт, – я вздрагиваю от наслаждения при мысли, что мне предстоит перепечатать этот текст:

«Ты помнишь: в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда. Четыре – серых. И вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили важно мимо нас... Мир стал заманчивей и шире. Но вдруг – суда уплыли прочь. Нам было видно: все четыре зарылись в океан и в ночь. И вновь тоскливо стало море, маяк уныло замигал, когда на низком семафоре последний отдал сигнал.

Как мало в этой жизни надо нам, детям, – и тебе, и мне! Ведь сердце радоваться радо и самой малой новизне. Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран – и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман».

Это хрестоматийный текст (особенно всех достала, я думаю, «пылинка дальних стран», которая попала в тысячу заголовков, светящихся розовой пионерской романтикой), – но истинный его смысл страшен. Трагедия-то в том, что стихи написаны от лица ребенка, живущего в Турине, где Блок незадолго до первой мировой войны увидел те самые военные суда, внезапно зашедшие в мирную, затхлую, зеленую бухту. Эти «четыре серых» были предвестниками конца света, по крайней мере – конца Европы. Но что ты будешь делать – живет ребенок в маленьком скучном городе, где только и счастья, что приход нового корабля; он ждет кораблей, как герои «Короля на площади», и тут, о радость, они являются! Господи, воистину – как мало в этой жизни надо нам,

детям; ведь дети всегда кричат: «Ура, война!» Им совершенно невдомек, что они погибнут первыми. Самое светлое, самое музыкальное стихотворение Блока написано о крушении мира: думаю, что, заканчивая этот текст, он уже прекрасно понимал, чему радовался. «Сердце радоваться радо и самой малой новизне» – даже такой, как гибель, и может быть, такой – в особенности. Вот чем оплачена музыка этих стихов – и вот что всегда выплывает из цветного тумана, когда в него вглядываются дети, уставшие от обыденности.

Мы тоже вглядывались и тоже ждали; и к нам выплыло.

К нам выплыло очередное упрощение и оголение жизни, и сведение ее к выживанию, и пожары на окраинах, и обнищание интеллигенции, грозящее полным ее исчезновением, и бессмысленные войны, и политическая невнятица, и торжество идиотов, и две русских революции, которые всегда ходят парами, – то есть революция и контрреволюция, если называть вещи своими именами; корабли оказались не странствующими, а военными и торговыми, и торговые наполнены были такой второсортной дрянью, выдаваемой за последний писк западной одежды, культурной и философской моды, что многих из нас стошнило на пирс. Русский двадцатый век оказался симметричен относительно середины: первые и последние его десятилетия были одинаково бурны – и одинаково позорны. Можно было по-блоковски повторить «Но не эти дни мы звали, а грядущие века»; но это не спасало от разочарования и, рискуя сказать, перерождения. Жить сто-

ит только во времена перемен, а точнее – в переходные, промежуточные месяцы, когда история застывает в равновесии, в неопределенности. Кроме этих точек перехода, все в моей жизни было неинтересно.

И после двадцати пяти лет я перестал понимать Блока.

Я перестал даже его читать – так, изредка прозу. С тем, что хранилось в памяти, ничего уже нельзя было сделать, и оно всплывало, по поводу и без повода. Чаще всего – совсем сухие, короткие стихи двенадцатого-пятнадцатого годов (цикл «Кармен» мне никогда особенно не нравился, кроме разве нескольких божественных строчек – вроде «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь» – с восхитительной грамматической неправильностью). Читать Блока было так же больно, как вспоминать свои иллюзии, как раскаиваться в том, что – вот это ты звал, вот это ты приветствовал и за это отвечаешь, а между тем новые времена, тобою вымечтанные, тебя съедят первого. «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».

Блок собирался написать – но так и не написал – вторую поэму, такую же пару к «Двенадцати», какой был русский октябрь к русскому же февралю. Вещь эта, куда более скептическая по тональности, чем вихревая поэма о патруле, должна была называться «Русский бред»; и там было сказано главное обо всех революциях:

Есть одно, что в ней скончалось

Безвозвратно...

Но нельзя его оплакать

И нельзя его почтить,

Потому что там и тут,

В кучу сбившиеся тупо,

Толстопузые мешане злобно чтут

Дорогую память трупа:

Там и тут,

Там и тут...

Это мне как раз было не очень понятно году в восемьдесят девятом, но слишком понятно со второй воловины девяностых: то, ради чего делается всякая революция, – погибает в ней первым. Хорошее всегда хрупко. В истории, увы, не бывает борьбы хорошего с плохим: есть только борьба дурного с омерзительным. В любой борьбе гибнут оба ее участника – хотя бы потому, что добро в процессе трансформируется; в свое время меня поразила не помню уж чья картина века эдак семнадцатого – «Давид с головой Голиафа». Отрубленная голова Голиафа смотрит на Давида спокойно, с сознанием исполненного долга и чуть ли не с состраданием. Все, мальчик, говорит она. Теперь Голиаф – ты. И в лице Давида, вместо гордой отчаянной решимости, проступает юношеская жестокость и усталая снисходительность: добро побеждает зло, фраза-перевертыш, верная для всех бинарных оппозиций. И вот, когда погибли – или переродились – оба борца, на пепелище недавней битвы возникает нечто третье.

Пока еще единое и монолитное. Никем не предусмотренное. Очень страшное.

Так на пепелище борьбы русского марксизма и самодержавия вырос невиданный кактус большевизма – строй без идеологии, реконструкция империи под видом ее разрушения. Так на выжженной земле, на которой только что боролись славянофилы и западники, вырос прагматизм новой эпохи, нашей, нынешней – западное государственничество, безликая, пустоглазая эпоха, окончательно уравнивавшая брадатых почвенников и трусливых либералов. Они одинаково бездарны и одинаково бесполезны. Есть одно, что в ней, в России, скончалось безвозвратно – но нельзя его оплакать и нельзя его почтить: и так уже плачут и чтут все, кому не лень. Не хочется пополнять своим голосом этот хор, как Блоку не хотелось добавлять своего голоса в общий вой по России-матушке, стране белорыбицы и глянцевого символистского журналов, шальных денег и роковых женщин, медвежьих шуб и сумасшедших поэтов. Во всякой революции первой убивают Катюку. У Блока вообще с проститутками особые отношения – похоже, только они ему и нравились по-настоящему, и есть для него особое упоение в том, чтобы любить женщину, которая сейчас с другим («Зимний ветер играет терновником, задувая в окне свечу. Ты ушла на свиданье с любовником, я один, я не сплю, я молчу»). «Незнакомка» – тоже ведь о женщине сомнительного поведения, волшебю преобразенной в пьяном бреду: истина – в вине, по-

тому что стрезва тут смотреть не на что. Эту женщину, это единственное, что тут было приличного, эту идею, которую в России непременно пускают по рукам, – всегда убивают первой; и потому, принимая происходящее, уносясь во всякого рода снежных бурях и растворяясь в ночах, надо помнить, какой ценой за это заплачено. Есть одно, что в ней скончалось безвозвратно, одно, ради чего и стоило жить... но этого сочинения он не дописал, потому что в нем был бы приговор. Поэт всегда все о себе знает, но не всегда находит в себе мужество сказать.

И все-таки: я художник, а следовательно – не либерал. Это нуждается в пояснении, поскольку слово «либерал» у нас не менее захватано, чем слово «патриот». Почти все патриоты у нас – Прохановы, почти все либералы – Зорины; это лишний раз доказывает, что оппозиция патриотизма и либеральности снята и все мы живем накануне появления каких-то новых, куда более великих оппозиций. Я не смею пока их назвать, чтобы не опозлеть.

Но условимся понимать под либералами – людей, для которых человек есть мера всех вещей; людей, для которых вертикальная иерархия ценностей непременно чревата кровью, а в идеале всё равно всему. Им невдомек, что релятивизм куда более опасен, ибо разрешает всем – все. Либерализм не требует от человека ничего чрезмерного. Либерализм комфортен, уютен, надежен, политкорректен. В России девяностых, конечно, сроду не было никакого либерализма,

поскольку уютно и комфортно тут было нескольким десяткам подонков, а остальные жили не в условиях либерализма, а среди прямого и беззастенчивого произвола. Либерализма не бывает без закона. И потому он был такой же фикцией, как и наш парламент – кормушка для более или менее успешных коммунистов, выдающих или не выдающих себя за демократов.

Так вот: если брать в рассмотрение именно такой либерализм, краткий и добропорядочный, основанный на старом европейском гуманизме, – то художник либералом быть не может и не должен. Когда-то современник и приятель Блока, Георгий Чулков, насмешил всю Россию беспрецедентным аргументом: «Всякий поэт обязан быть анархистом. Потому что как же иначе?» Все смеялись – не смеялся только Блок. Он вообще редко смеялся. Одна из лучших его статей посвящена развитию некрасовского тезиса – «Я не люблю иронии твоей, оставь ее отжившим и нежившим». Не любил иронии и релятивизма. Не признавал относительности всех ценностей. Ставил перед собой серьезные вопросы, отличал черное от белого, хранил верность вертикальной иерархии. Любил Вагнера, в особенности теоретические его работы – «Искусство и революцию», например. Любил Ибсена с его титанизмом, с его «Брандом», с его ненавистью к буржуазности. Хрестоматийной стала фраза из дневника, из той самой записи, где изливается ненависть к соседу-буржуа, с дочкой, играющей на фортепьянах: «Гнусно мне, рвотно мне, отой-

ди от меня, Сатана!» Отсюда же – ненависть к так называемой материальной культуре, к коллекционированию, к музеям («Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи» – из чернового письма к Маяковскому). А как он ненавидел парламентаризм, и газеты, и политическую жизнь, которую называл «тухлой заводью, вроде Маркизовой лужи»! Все это было для него – жидовство; и хотя антисемитизм его был не чета нынешнему, зоологическому современных наследников сменовеховства, – скажу, что и вовсе не было никакого «антисемитизма» в обычном смысле, – но «антижидовство» было: была ненависть к пошлости и мелочности, трусости и болтливости, корысти и бездарности, модернистской иронии...

Ну, и тогда – умри, так называемая «нормальная жизнь». Разрушить и начать с нуля. «Ломайтесь, тайте и умрите, созданы хрупкие мечты». Сусального ангела в самом деле не жалко, даром что авторское «я» в этом самом сусальном ангеле прочитывается совершенно отчетливо. Только о себе мог он говорить с таким брезгливым умилением:

«Сижу за ширмой. У меня такие крошечные ножки...»
«Маленькому зайчику на лесной опушке прежде глазки тешили яркие цветочки...»
«Сначала тают крылья крошки, головка падает назад, сломались сахарные ножки и в сладкой лужице лежат...»

Жалко, а все-таки хочется вытереть руки.

И невдомек ему было, что никаких кораблей не будет и

никакого очищения в снежной буре – тоже. Только и ценного было в этом мире, что сусальный ангел да проститутка Катька, и их-то не станет в первую очередь. Для чего было и огород городить?

Он понял это и умер.

С его смертью, в общем, много неясного; Александр Эткинд, написавший едва ли не лучшую статью о блоковской ненависти к телу и полу, о революции, которая в сознании Блока в самом деле тесно увязывалась с кастрацией (статья о Катилине в этом смысле клинически показательна), утверждает, что причиной всему был сифилис. Не согласен: мне представляется, что Блока и Ленина (которому тоже все приписывали сифилис) свело в могилу одно и то же заболевание, с неотличимой в обоих случаях симптоматикой. Сначала – вспышки раздражения, злобы, мучительные головные боли; потом – забывание слов, неузнавание людей, провалы в сознании; наконец – безумие. Блок был все-таки слабее Ленина, а может, просто умнее – и потому умер раньше. Но обоих погубило глобальное разочарование и страшное чувство личной вины: представьте себе, что чувствовал бы конек-горбунок, который толкал-толкал Ваню в кипящую воду, чтобы вышел оттуда добрый молодец... а вместо доброго молодца всплывает вареный Ваня. Вот тебе и очистительное пламя. Ленин всегда очень цинично пользовался историей – но она воспользовалась им куда циничнее: понадобился человек без правил и принципов, абсолютный прагматик –

чтобы радикально упростить и тем восстановить империю; он упростил, восстановил – и обалдел. Он ждал, что настанет утопия, – а тут и бюрократия, во сто крат хуже прежней, и тупость, и диктат, от которого он не знает, куда деться... И, по идее, этот диктат должен бы как-нибудь прекратиться наконец – а он ужесточается, вот уже в какую-то улитку самоуничтожения сворачивается некогда прямая линия исторического развития... есть от чего в отчаянье прийти! Нечто подобное случилось и с Блоком: стоило приветствовать очистительную катастрофу, чтобы в ней погибло единственное ценное – и воцарился торжествующий компомп! Гаршинская пальма с усилием пробила теплицу – и поняла, что теплица была **ЕДИНСТВЕННЫМ** условием ее существования. Только на навозе российской империи могли восходить все эти асфодели... асфодели вырвали, навоз остался. И вот нам всем урок: художник, конечно, не может и не должен быть либералом – но либералы пусть делают свое дело и не слушают художника. Иначе он мировой пожар раздует, мировой пожар в крови – и первым в нем сгорит, а заплатят за это миллионы его ни в чем не повинных читателей. Вины Блока в русской революции, конечно, не было, – он просто доказал, что воззрения поэта на революцию не имеют никакого отношения к реальности, поскольку очистительных бурь не бывает, а бывает кондовая скука новых закрепощений. И корабли, которым «сердце радоваться радо», – это военные корабли грядущей войны. Отойди, мальчик, они целятся.

Тут нельзя не сказать и о его душевной болезни, благодаря которой он с такой радостью принимал любой распад и разрушение. Это было вовсе не только следствием болезненной душевной чуткости, но прежде всего неким внутренним резонансом: он особенно чутко и готовно отзывался на деструкцию, крах, уничтожение. Отсюда его небывалый творческий подъем в пятом – восьмом годах, отсюда радость, с которой он встретил войну: «Наконец-то». Отсюда и восторг при виде тающего ангела: «Ломайтесь, тайте и умрите!» Краснощекий здоровяк, красавец, рослый и статный, любитель физической работы – колоть дрова, пилить на чердаке слуховое окно, – он был внутри источен наследственной болезнью и рухнул в одночасье, проболев три месяца. Болезнь эта была по преимуществу душевная, но у людей, чья физическая жизнь почти всецело определяется состоянием духа, границы меж телом и духом нет. Так было, как ни странно, и у Ленина, подчинившего тело своей железной воле, – и у Блока, чье здоровье не зависело ни от количества выпитого, ни от качества съеденного, ни от погоды – а исключительно от настроения, от желания или нежелания жить.

Кто читал письма его отца – настоящего душевнобольного, с маниями, с сотнями смешных и страшных привычек, – тот не сомневается в блоковском изначальном нездоровье. Жуткие письма, с многословными шутками, с каким-то механическим, щелкающим остроумием, с паутинным плетением словес, с тайной, глубоко загнанной нежностью и еще

глубже загнанной уязвленностью... Его отец скопил порядочные деньги (Блок, получив наследство, смог оставить журнальную поденщину), написал несколько трудов по правоведению, считался ярким лектором – и двадцать лет ходил в одном и том же сюртуке, боялся людей, мучил обеих жен... Ужас, ужас; добавьте к этому материнскую истерию – «и будет мой портрет готов». Белый, которого все считали безумцем, был в тысячу раз здоровей его, и все навязчивые идеи, все садомазохистские фантазии Сологуба бледнеют перед этим родовым, наследственным, клиническим безумием, так восторженно резонировавшим с любыми развалами и распадами. «Я люблю гибель, всегда любил ее» – чего вы хотите? Не требуется особенного ума, чтобы сопоставить это с его ненавистью к обыденности, простой и реальной жизни – и понять, что его пресловутый не-либерализм как раз и был, в сущности, отказом от жизни как таковой. Во имя Великого. Которого вне жизни, как вдруг выяснилось, нет. Можно разрушить дом из ненависти к клопам, скрипучим диванам, тусклым лампочкам и ученическим гаммам, – но в ледяной пустыне жить нельзя.

Душевнобольные этого не понимают. Иногда, впрочем, это вдруг становится им ясно – и тогда конец. Под конец он несколько дней кричал криком – как пелевинские постигшие, которых специально сажают в пробковые камеры.

Узнав о его смерти, Чуковский весь день проплакал. Каждый дом, писал он в дневнике, словно говорил мне: «И не

надо никакого Блока. И отлично».

Но это не повод разрушать дома – Чуковский это понимал.

Я заканчиваю сейчас большую книгу о восемнадцатом годе – самом интересном годе в российской истории прошлого века, как представляется мне. И есть у меня там любимый эпизод – когда интеллигенция двух враждующих кланов, условных архаистов и условных новаторов, сходится для краткого перемирия на свадьбе новатора и архаистки.

Оба клана к Блоку относятся неважно: для футуристов он недостаточно революционен, для консерваторов вовсе неприемлем, поскольку, во-первых, декадент, а во-вторых, еще и предатель. Но после того, как выпиты первые кружки нелегально добытого спирта, разведенного водой и чуть подслащенного сахаринном, – интеллигенция, как обычно, начинает читать стихи; и все, как выясняется, читают Блока.

Не было и не будет никого, кто точнее и музыкальней выразил безнадежно миновавшее время, не было никого, кто так врезался бы в память. Больше того – при своей душевной болезни, метаниях и загулах он был единственным святым во всей русской поэзии: целомудреннее Пушкина, пламеннее Жуковского, сдержаннее Лермонтова, чище Некрасова, умнее и глубже Фета и Полонского, честнее и последовательнее всех. Любить гибель – значит погибнуть.

Главному герою книжки в фамилии Блока всегда слышится запрет, «блок»: некое предупреждение о том, что сюда

нельзя. Здесь зона риска, здесь любовь к тому, что в конечном итоге всех погубит. Но, слушая архаистов и новаторов, наизусть читающих главного поэта эпохи, он понимает: фамилия его значит совсем другое. Это блок в том значении, в котором упоминали его когда-то в Думе: блок кадетов и прогрессистов... монархистов и черносотенцев... Блок – союз, всеобъединяющая, всесильная музыка: мы – и левые, и правые, – обречены погибнуть уже потому, что имеем дело со словом, что ненавидим пошлость обыденности и зовем бурю; эта буря сожрет нас первыми, и тут уже неважно – патриоты мы или либералы. Стихия об убеждениях не спрашивает. Все мы – рыцари одного нерушимого Блока: «Цель нашу нельзя обозначить, цель наша – концы отдавать», как сказала Новелла Матвеева, почти всего Блока знающая наизусть.

Блок – не для жизни. И чем дальше его стихи будут от жизни, тем лучше. И нас не слушайте, когда мы накликаем бурю или проклинаем либерализм: мы художники, а следовательно, не либералы, – но вы люди, а следовательно, не должны слушаться художников. Блок – для подростков и поэтов, для взыскующих града, для кого угодно, – а вовсе не для руководства к действию.

Но всем, кому тесно и скучно на земле, он был и будет утешением и оправданием – нерушимый Блок мальчиков и девочек из хороших семей, дитя, восторженно приветствующее серые военные корабли.

Дмитрий Быков
2020

Предчувствую Тебя

Из цикла «Ante lucem»¹
(1898–1900)

Servus – Reginae²

Не призывай. И без призыва
Приду во храм.
Склонюсь главою молчаливо
К твоим ногам.

И буду слушать приказанья
И робко ждать.
Ловить мгновенные свиданья
И вновь желать.

Твоих страстей повержен силой,
Под игом слаб.
Порой – слуга; порою – милый;
И вечно – раб.

¹ До света (*лат.*).

² Слуга – царице (*лат.*).

14 октября 1899

Из цикла «стихи о прекрасной даме» (1901–1902)

«Я вышел. Медленно сходили...»

Я вышел. Медленно сходили
На землю сумерки зимы.
Минувших дней молодые были
Пришли доверчиво из тьмы...

Пришли и встали за плечами,
И пели с ветром о весне...
И тихими я шел шагами,
Провидя вечность в глубине...

О, лучших дней живые были!
Под вашу песнь из глубины
На землю сумерки сходили
И вечности вставали сны!..

25 января 1901.

С.-Петербург

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»

*И тяжкий сон житейского сознания
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
Вл. Соловьев*

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,
И молча жду, – *тоскуя и любя.*

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду – и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

4 июня 1901. С. Шахматово

«Я жду призыва, ищу ответа...»

Я жду призыва, ищу ответа,
Немее небо, земля в молчаньи,
За желтой нивой – далёко где-то —
На миг проснулось мое воззванье.

Из отголосков далекой речи,
С ночного неба, с полей дремотных,
Всё мнятся тайны грядущей встречи,
Свиданий ясных, но мимолетных.

Я жду – и трепет объемлет новый,
Всё ярче небо, молчанье глуше...
Ночную тайну разрушит слово...
Помилуй, боже, ночные души!

На миг проснулось за нивой, где-то,
Далеким эхом мое воззванье.
Всё жду призыва, ищу ответа,
Но странно длится земли молчанье...

7 июля 1901

«Я, отрок, зажигаю свечи...»

Имеющий невесту есть жених, а друг жениха,

*стоящий и внимающий ему, радостью радуется,
слыша голос жениха.*

От Иоанна III, 29

Я, отрок, зажигаю свечи,
Огонь кадилный берегу.
Она без мысли и без речи
На том смеется берегу.

Люблю вечернее моление
У белой церкви над рекой,
Передзакатное селенье
И сумрак мутно-голубой.

Покорный ласковому взгляду,
Любуюсь тайной красоты,
И за церковную ограду
Бросаю белые цветы.

Падет туманная завеса.
Жених сойдет из алтаря.
И от вершин зубчатых леса
Забрезжит брачная заря.

7 июля 1902

«Вхожу я в темные храмы...»

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая – Ты.

25 октября 1902

«Мне страшно с Тобой встречаться...»

Мне страшно с Тобой встречаться
Страшнее Тебя не встречать.
Я стал всему удивляться,
На всем уловил печать.

По улице ходят тени,
Не пойму – живут, или спят.
Прильнув к церковной ступени,
Боюсь оглянуться назад.

Кладут мне на плечи руки,
Но я не помню имен.
В ушах раздаются звуки
Недавних больших похорон.

А хмурое небо низко —
Покрыло и самый храм.
Я знаю: Ты здесь. Ты близко.
Тебя здесь нет. Ты – там.

5 ноября 1902

Из цикла «распутья» (1902–1904)

«Я их хранил в приделе Иоанна...»

Я их хранил в приделе Иоанна,
Недвижный страж, – хранил огонь лампад.

И вот – Она, и к Ней – моя Осанна —
Венец трудов – превыше всех наград.

Я скрыл лицо, и проходили годы.
Я пребывал в Служеньи много лет.

И вот зажглись лучом вечерним своды,
Она дала мне Царственный Ответ.

Я здесь один хранил и теплил свечи.
Один – пророк – дрожал в дыму кадил.

И в Оный День – один участник Встречи —
Я этих Встреч ни с кем не разделил.

8 ноября 1902

Песня Офелии

Он вчера нашептал мне много,
Нашептал мне страшное, страшное...
Он ушел печальной дорогой,
А я забыла вчерашнее —
забыла вчерашнее.

Вчера это было – давно ли?
Отчего он такой молчаливый?
Я не нашла моих лилий в поле,
Я не искала плакучей ивы —
плакучей ивы.

Ах, давно ли! Со мною, со мною
Говорили – и меня целовали...
И не помню, не помню – скрою,
О чем берега шептали —
берега шептали.

Я видела в каждой былинке
Дорогое лицо его страшное...
Он ушел по той же тропинке,
Куда уходило вчерашнее —
уходило вчерашнее...

Я одна приютилась в поле,

И видела лишь ночь городская, черная,
Как прошли и скрылись: невеста и жених.

И в день морозный, солнечный, красный —
Мы встретились в храме – в глубокой тишине.
Мы поняли, что годы молчанья были ясны,
И то, что свершилось, – свершилось в вышине.

Этой повестью долгих, блаженных исканий
Полна моя душная, песенная грудь.
Из этих песен создал я зданье,
А другие песни – спою когда-нибудь.

16 июня 1903. Bad Nauheim

«Пристань безмолвна. Земля близка...»

Пристань безмолвна. Земля близка.
Земли не видно. Ночь глубока.

Стою на серых мокрых досках.
Буря хохочет в седых кудрях.

И слышу, слышу, будто кричу:
«Поставьте в море на камне свечу!»

Когда пристанет челнок жены,
Мы будем вместе с ней спасены!»

И страшно, и тяжело в мокрый песок
Быют волны, шлюют волны седой намек...

Она далёко. Ответа нет.
Проклятое море, дай мне ответ!

Далёко, там, камень! Там ставьте свечу!
И сам не знаю, я ли кричу.

Июль 1903. С. Шахматово

«Когда я уйду на покой от времен...»

Когда я уйду на покой от времен,
Уйду от хулы и похвал,
Ты вспомни ту нежность, тот ласковый сон,
Которым я цвел и дышал.

Я знаю, не вспомнишь Ты, Светлая, зла,
Которое билось во мне,
Когда подходила Ты, стройно-бела,
Как лебедь, к моей глубине.

Не я возмущал Твою гордую лень —
То чуждая сила его.
Холодная туча смущала мой день, —
Твой день был светлей моего.

Ты вспомнишь, когда я уйду на покой,
Исчезну за синей чертой, —
Одну только песню, что пел я с Тобой,
Что Ты повторяла за мной.

1 ноября 1903

«Мой любимый, мой князь, мой жених...»

Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу.
Павиликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу.

Я ловлю твои сны на лету
Бледно-белым прозрачным цветком,
Ты сомнешь меня в полном цвету
Белогрудым усталым конем.

Ах, бессмертье мое растопчи, —
Я огонь для тебя сберегу.
Робко пламя церковной свечи
У заутрени бледной зажгу.

В церкви станешь ты, бледен лицом,

И к царице небесной придешь, —
Колыхнусь восковым огоньком,
Дам почувать знакомую дрожь...

Над тобой – как свеча – я тиха,
Пред тобой – как цветок – я нежна.
Жду тебя, моего жениха,
Всё невеста – и вечно жена.

26 марта 1904

МОЛИТВЫ

*Наши Арга!
Андрей Белый*

1

Сторожим у входа в терем,
Верные рабы.
Страстно верим, выси мерим,
Вечно ждем трубы.

Вечно – завтра. У решетки
Каждый день и час
Славословит голос четкий

Одного из нас.

Воздух полон воздыханий,
Грозových надежд,
Высь горит от несмыканий
Воспаленных вежд.

Ангел розовый укажет,
Скажет: «Вот она:
Бисер нижет, в нити вяжет —
Вечная Весна».

В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.

Март – апрель 1904

Из цикла «За гранью прошлых дней»

«Неправда, неправда, я в бурю влюблен...»

Неправда, неправда, я в бурю влюблен,
Я люблю тебя, ветер, несущий листы,
И в час мой последний, в час похорон,
Я встану из гроба и буду, как ты!

Я боюсь не тебя, о, дитя, ураган!
Не тебя, мой старый ребенок, зима!
Я боюсь неожиданно колющих ран...
Так может изранить – лишь Она... лишь
Сама...

Сама – и Душой непостижно кротка,
И прекрасным Лицом несравненно бела...
Но она убьет и тебя, старина, —
И никто не узнает, что буря была...

10 июня 1903. Bad Nauheim

Да святится Имя Твое!

Из цикла «Распутья»

Вступление

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копыя заката
Протянули ко мне острие.

Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну.
Если все мольбы отзвенели,
Угнетенный, в поле усну.

Ты пройдешь в золотой порфире —
Уж не мне глаза разомкнуть.
Дай вздохнуть в этом сонном мире,
Целовать излучённый путь...

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой,
Ты, Держащая море и сушу

Неподвижно тонкой Рукой!

16 апреля 1905

Из цикла «Разные стихотворения» (1904–1908)

«В голубой далекой спальне...»

В голубой далекой спальне
Твой ребенок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил.

Всё, как было. Только странная
Воцарилась тишина.
И в окне твоём – туманная
Только улица страшна.

Словно что-то недосказано,
Что всегда звучит, всегда...
Нить какая-то развязана,
Сочетавшая года.

И прошла ты, сонно-белая,
Вдоль по комнатам одна.
Опустила, вся несмелая,
Штору синего окна.

И потом, едва заметная,
Тонкий полог подняла.
И, как время безрассветная,
Шевелясь, поникла мгла.

Стало тихо в дальней спальне —
Синий сумрак и покой,
Оттого, что карлик маленький
Держит маятник рукой.

4 октября 1905

Ангел-хранитель

Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле.

За то, что ты светлой невестой была,
За то, что ты тайну мою отняла.

За то, что связала нас тайна и ночь,
Что ты мне сестра, и невеста, и дочь.

За то, что нам долгая жизнь суждена,
О, даже за то, что мы – муж и жена!

За цепи мои и заклятья твои.
За то, что над нами проклятье семьи.

За то, что не любишь того, что люблю.
За то, что о нищих и бедных скорблю.

За то, что не можем согласно мы жить.
За то, что хочу и не смею убить —

Отмстить малодушным, кто жил без огня,
Кто так унижал мой народ и меня!

Кто запер свободных и сильных в тюрьму,
Кто долго не верил огню моему.

Кто хочет за деньги лишить меня дня,
Собачью покорность купить у меня...

За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои – поколение рабов,

И нежности ядом убита душа,
И эта рука не поднимет ножа...

Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою.

Что огнем сожжено и свинцом залито —
Того разорвать не посмеет никто!

С тобою смотрел я на эту зарю —

С тобой в эту черную бездну смотрю.

И двойственно нам приказанье судьбы:
Мы вольные души! Мы злые рабы!

Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!
Огонь или тьма – впереди?

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?
Вдвоем – неразрывно – навеки вдвоем!

Воскреснем? Погибнем? Умрем?

17 августа 1906

Из цикла «Снежная маска» (1907)

Влюбленность

И опять твой сладкий сумрак, влюбленность.
И опять: «Навеки. Опустит глаза твои».
И дней туманность, и ночная бессонность,
И вдали, в волнах, вдали – пролетевшие ладьи...

И чему-то над равнинами снежными
Улыбнувшаяся задумчиво заря.
И ты, осенившая крылами белоснежными
На вечный покой отходящего царя.

Ангел, гневно брови изламывающий,
Два луча – два меча скрестил в вышине.
Но в гневах стали звенящей и падающей
Твоя улыбка струится во мне.

4 января 1907

Благословляю все, что было...

**Из цикла «Страшный мир»
(1909–1916)**

**«С мирным счастьем
покончены счета...»**

С мирным счастьем покончены счета,
Не дразни, запоздалый уют.
Всюду эти щемящие ноты
Стерегут и в пустыню зовут.

Жизнь пустынна, бездомна, бездонна,
Да, я в это поверил с тех пор,
Как пропел мне сиреной влюбленной
Тот, сквозь ночь пролетевший, мотор.

11 февраля 1910

«Дух пряный марта был в лунном круге...»

Дух пряный марта был в лунном круге,
Под талым снегом хрустел песок.
Мой город истаял в мокрой вьюге,
Рыдал, влюбленный, у чьих-то ног.

Ты прижималась всё суеверней,
И мне казалось – сквозь храп коня —
Венгерский танец в небесной черни
Звенит и плачет, дразня меня.

А шалый ветер, носясь над далью, —
Хотел он выжечь душу мне,
В лицо швыряя твоей вуалью
И запевая о старине...

И вдруг – ты, дальняя, чужая,
Сказала с молнией в глазах:
То душа, на последний путь вступаю,
Безумно плачет о прошлых снах.

6 марта 1910

Часовня на Крестовском острове

«Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...»

*Ночь без той, зовут кого Светлым именем:
Ленора.
Эдгар По*

Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный
Решал всё тот же я – мучительный вопрос,
Когда в мой кабинет, огромный и туманный,
Вошел тот джентльмен. За ним – лохматый пес.

На кресло у огня уселся гость устало,
И пес у ног его разлегся на ковер.
Гость вежливо сказал: «Ужель еще вам мало?
Пред Гением Судьбы пора смириться, сёр».

«Но в старости – возврат и юности, и жара...» —
Так начал я... но он настойчиво прервал:
«Она – всё та ж: *Линор безумного Эдгара.*
Возврата нет. – Еще? Теперь я всё сказал».

И странно: жизнь была – восторгом, бурей, адом,
А здесь – в вечерний час – с чужим наедине —
Под этим деловым, давно спокойным взглядом,
Представилась она гораздо проще мне...

Тот джентльмен ушел. Но пес со мной бессменно.
В час горький на меня уставит добрый взор,
И лапу жесткую положит на колено,
Как будто говорит: *Пора смириться, сёр.*

2 ноября 1912

«Ну, что же? Устало заломлены слабые руки...»

Ну, что же? Устало заломлены слабые руки,
И вечность сама загляделась в погасшие очи,
И муки утихли. А если б и были высокие муки, —
Что нүжды? – Я вижу печальное шествие ночи.

Ведь солнце, положенный круг обойдя, закатилось.
Открой мои книги: там сказано всё, что свершится.
Да, был я пророком, пока это сердце молилось, —
Молилось и пело тебя, но ведь ты – не царица.

Царем я не буду: ты власти мечты не делила.
Рабом я не стану: ты власти земли не хотела.
Вот новая ноша: пока не откроет могила
Сырые объятья, – тащиться без важного дела...

Но я – человек. И, паденье свое признавая,
Тревогу свою не смирю я: она всё сильнее.

То ревность по дому, тревогою сердце снедая,
Твердит неотступно: *Что делаешь, делай скорее.*

21 февраля 1914

Из цикла «Возмездие» (1908–1913)

«Она, как прежде, захотела...»

Она, как прежде, захотела
Вдохнуть дыхание свое
В мое измученное тело,
В мое холодное жильё.

Как небо, встала надо мною,
А я не мог навстречу ей
Пошевелить больной рукою,
Сказать, что тосковал о ней...

Смотрел я тусклыми глазами,
Как надо мной она грустит,
И больше не было меж нами
Ни слов, ни счастья, ни обид...

Земное сердце уставало
Так много лет, так много дней...
Земное счастье запоздало
На тройке бешеной своей!

Я, наконец, смертельно болен,
Дышу иным, иным томлюсь,
Закатом солнечным доволен
И вечной ночи не боюсь...

Мне вечность заглянула в очи,
Покой на сердце низвела,
Прохладной влагой синей ночи
Костер волненья залила...

30 июля 1908

«Когда я прозревал впервые...»

Когда я прозревал впервые,
Навстречу жаждущей мечте
Лучи метнулись заревые
И трубный ангел в высоте.

Но торжества не выносила
Пустынной жизни суета,
Беззубым смехом исказила
Всё, чем жива была мечта.

Замолкли ангельские трубы,
Немотствует дневная ночь.
Верни мне, жизнь, хоть смех беззубый,
Чтоб в тишине не изнемочь!

Март 1909

«Кольцо существования тесно...»

Кольцо существования тесно:
Как все пути приводят в Рим,
Так нам заранее известно,
Что всё мы рабски повторим.

И мне, как всем, всё тот же жребий
Мерещится в грядущей мгле:
Опять – любить Ее на небе
И изменить ей на земле.

Июнь 1909

Из цикла «Ямбы» (1907–1914)

«Не спят, не помнят, не торгуют...»

Не спят, не помнят, не торгуют.
Над черным городом, как стон,
Стоит, терзая ночь глухую,
Торжественный пасхальный звон.

Над человеческим созданием,
Которое он в землю вбил,
Над смрадом, смертью и страданием
Трезвонят до потери сил...

Над мировую чепухую;
Над всем, чему нельзя помочь;
Звонят над шубкой меховой,
В которой ты была в ту ночь.

30 марта 1909. Ревель

«Я – Гамлет. Холодеет кровь...»

Я – Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце – первая любовь
Жива – к единственной на свете.

Тебя, Офелию мою,
Увел далёко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю,
Клинком отравленным заколот.

6 февраля 1914

Из цикла «Разные стихотворения» (1908–1916)

«Когда замрут отчаянье и злоба...»

Когда замрут отчаянье и злоба,
Нисходит сон. И крепко спим мы оба
На разных полюсах земли.

Ты обо мне, быть может, гредишь в эти
Часы. Идут часы походкою столетий,
И сны встают в земной дали.

И вижу в снах твой образ, твой прекрасный,
Каким он был до ночи злой и страстной,
Каким являлся мне. Смотри:

*Всё та же ты, какой цвела когда-то,
Там, над горой туманной и зубчатой,
В лучах немеркнувшей зари.*

1 августа 1908

«Ты так светла, как снег невинный...»

Ты так светла, как снег невинный.

Ты так бела, как дальний храм.

Не верю этой ночи длинной

И безысходным вечерам.

Своей душе, давно усталой,

Я тоже верить не хочу.

Быть может, путник запоздалый,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.